

кровавую жатву ещё несколько лет. На Западе всеевропейское ликование по поводу Версальского мира в короткой памяти обывателя затмило ужасы Вердена и Ипра. Эта эйфория в какой-то степени стала прологом к началу двух человеконенавистнических тоталитарных систем — сталинизма и гитлеризма. Человечество было уверено: эта война последняя, этот четырехлетний ужас, эти кошмары больше никогда не повторятся. Но прошло двадцать или чуть

более лет, как фосген, зарин и зоман на полях сражений, сменил циклон и другие отравляющие вещества газовых в печах крематориев лагерей уничтожения. Мурманская область перенесла и Вторую мировую. А мои уцелевшие в 1941–45 гг. родственники, когда случалась какая-либо беда стали говорить: «Ничего, больше потеряли».

Алексей Лейн  
Мурманская область

#### ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Владимир Кантор

## Король Хуан Карлос и философ Хосе

(ИЗ ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА)

Начну с малоизвестных широкой публике строчек:

Дверь открывается. Входит сосед.  
Справа Ортега, а слева Гассет.  
Они станут понятнее чуть позже. Я еще их повторю.

Разумеется, испанский король Хуан Карлос и не подозревал, какую роль он сыграл в первой публикации великого испанского мыслителя в журнале «Вопросы философии».

Была середина 80-х, когда с 10 по 16 мая 1984 года Советский Союз с официальным визитом посетили король Испании Хуан Карлос I и королева София. Об этом написала газета «Правда». А у меня шла, вернее, я хотел, чтобы пошла статья Хосе Ортеги-и-Гассета. Это должна была быть первая его публикация на русском. Дело в том, что замечательный испанист Инна Тертерян (1933–1986) готовила сборник Ортеги, но издательство трусило, и нужен был прецедент публикации Ортеги в солидном, почти партийном журнале. «Вопросы философии» стоял в журнально-литературном сознании как-то сразу после партийных журналов. Помню, когда в 1985 г. мою книгу прозы рубило издательство «Советский писатель» как несоветскую, мой редактор, тихо улыбаясь, иезуитски оправдывалась: «Да этого не может быть, ведь автор работает в «Вопросах философии»». С Тертерян мы обсудили возможный текст и выбрали самый нейтральный. Важен был факт публикации. Была выбрана статья «Эссе на эстетические темы в форме предисловия».

Теперь надо было поставить статью на редколлегия. Таким правом обладал только член редколлегии, каковым я тогда не был. Вообще, но об этом чуть позже, в журнале очевидно сложилось две почти антагонистические группы — редакция contra редколлегия. Как-то ещё при либеральном Иване Фролове, желая протащить один текст, который конечно, никогда бы не подписал мой заведующий отделом Михаил Федотович Овсянников, я сделал вид, что не нашёл его,



и подписал статью на редколлегия сам. Но перед ксерокопированием восемнадцати экземпляров по числу членов редколлегии все статьи просматривал Главный. И вдруг из его кабинета раздался возмущённый возглас, который мне передали потом друзья (я в этот момент курил на улице): «Где этот Кант?! Подать сюда этого Гегеля!». Дело в том, что подпись моя была

проста: «ВКант». Скандала не случилось. Фролов был человек отходчивый. Но в ситуации с Ортегой всё было гладко. Овсянников уже неделю грипповал. Материалов на редколлегия было мало, и главный редактор Вадим Сергеевич Семёнов велел достать из портфеля всё, у кого что есть. И если заведующего отделом по тем или иным причинам нет, то на редколлегия подписывать самим.

Так что мог я безо всяких опасений отправить статью Ортеги на редколлегия. Поскольку и Семёнова в этот день вызвали в ЦК, то на редколлегия статьи пошли сами собой. Была только виза заведующей редакцией Тани. Наконец пришёл четверг, наступило три часа, началась редколлегия. Большие люди с любопытством посматривали на меня, предвкушая шикарную идеологическую порку. Редакция приготовилась к защите, распив по этому поводу перед редколлгией пару бутылок водки в местной «стекляшке». Тогда-то и произошёл этот замечательный случай. Мы шли, разогретые, по тротуару, размахивая руками, довольно громко произнося не совсем советские речи. Шедший нам навстречу человек в костюме служащего, «мещанин», по определению Володи Кормера, вдруг отступил с тротуара, пропуская нас. Оглядел, оценил и произнес вслух громко фразу, которую мы все запомнили навсегда: «Ну и компания! Хоть всех сразу в тюрьму можно!». И быстро

прошёл мимо. Что прохожий имел в виду — пьяный наш вид или речи, — мы не поняли. Но гордо решили, что сам наш облик выпадает из привычного для советского режима образа.

Хочу привести здесь строфу из песни своего сына (Дмитрия Кантора), она точна по ощущению времени, точнее — безвременья;

Раз в Стране Чудес,  
Там, на грани сна,  
Где как гром с небес  
Что ни год — война,  
Где вокруг тюрьмы  
Колокольный звон,  
Жили-были мы  
Посреди времён

Живя посреди времён, мы не искали правды, а просто были всегда напряжённо готовы к отражению любой пакости. Короче, и к редколлегии мы были готовы — к обороне и нападению. Семёнов открыл редколлегию, сказав: «Сегодня хорошо консультанты поработали. Хороший подбор статей. Одна, конечно, ошибочная. Но всего одна. Мы её просто быстро отклоняем». «Это о твоей статье, об Ортеге», — шепнул сидевший рядом со мной Толя Шаров. Поднялся Володя Кормер, человек высокого роста, с острыми глазами (в жизни два или три раза встречал такие глаза), которые как-то иронически оглядывали собеседника, так что тому хотелось почему-то оправдываться, и спросил: «Хотелось бы понять о какой статье речь. Вроде все наши сотрудники работают в журнале давно, все высокой квалификации». Семёнов нахмурился, и фраза вырвалась вполне простонародная: «Будто не понимаете. Пусть Кантор объяснит!» Кормер поднял брови: «Но Кантор никаких статей не отклонял. Нет, не понимаю». Уже хмельной Володя Мудрагей бросил Главному: «А вы объясните! Глядишь — поймем». Кто-то из членов редколлегии, кажется, Владислав Жанович Келле, хоть и истматчик, но человек битый не раз, сказал как бы прощупывающим голосом: «А вы с кем-нибудь, Владимир Карлович, о возможности публиковать Ортегу-и-Гассета советовались?» Сказал вполне доброжелательно. Я поднялся: «Но Михаил Федотович (Овсянников) болен. А статью принесла очень известная латиноамериканистка, Тертерян Инна Артуровна. Она не только в ИМЛИ работает и доктор наук, но член Испанской королевской академии литературы и языка. Это уже знак качества». «Вот именно, — пробурчал Борис Юдин. — Для нас-то всё ясно. Но если кто другой не понимает...» Семёнов вспыхнул: «А вы не дерзите! Речь не о Тертерян, а об испанце. Ведь неслучайно его до сих пор у нас не печатали и не печатают. Почему мы должны начать?» Иван Фролов, не желая терять лица, но и не желая вступать в эту сомнительную баталию, встал из-за стола и вышел за дверь. Мой второй шеф (надо сказать, я был своего рода слугой двух господ: на мне висели два отдела — эстетический и этики), Титаренко Александр Иванович, заведующий отделом этики, решил выручить меня. Человек роста невысокого, зани-

мавшийся проблемой «вненаучного предвосхищения в морали», решил смягчить ситуацию, ему показалось, что его подопечный в опасности: «Да в чём дело? Причём здесь Кантор? Ему дали статью, он её подал на редколлегию, а о политических проблемах публикации не подумал. Давайте просто её отклоним. Безо всяких оргвыводов. И никаких вопросов».

И это вдруг разбудило во мне все мои авантурные инстинкты. И я почувствовал себя, как Остап Бендер, организовавший «тайный союз Меча и Орала», то есть почувствовал вдохновение, говоря словами Ильфа и Петрова, «упоительное состояние перед вышесредним шантажом». Я вспомнил правдинскую публикацию о визите к *Генеральному секретарю Центрального комитета КПСС товарищу Константину Устиновичу Черненко* испанского короля Хуана Карлоса. Образ Бендера мне всегда нравился. Его ругали как советского приспособленца наиболее ретивые прорабы перестройки. Но, на мой взгляд, Ильф с Петровым создали героя, проявлявшего максимум свободы в несвободных обстоятельствах. Вот в таких несвободных обстоятельствах я и очутился. И надо было выйти из них с победой. Я встал и сказал: «Извините, Александр Иванович, отклонять этот текст нельзя» Друзья и коллеги даже замерли, ошеломлённые моей наглостью. «Дело в том, — продолжал я, — что, как все знают, испанский король Хуан Карлос сейчас в Москве, что в Москве он имел аудиенцию с Генеральным секретарем. А вот что я могу добавить к этому общеизвестному. Во время приёма король поинтересовался и удивился, почему в Советском Союзе не переводят величайшего испанского философа, то есть Ортегу-и-Гассета. И Генеральный секретарь пообещал навести порядок в этом вопросе. Поэтому наша публикация — это то, что сейчас требуется».

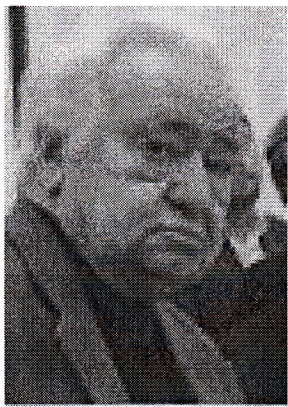
«Откуда вы это знаете?» — почти прошептал Семёнов.

Друзья тоже смотрели на меня, открыв рот. Нельзя было даже ухмыльнуться в этой ситуации, поэтому с полной серьёзностью я ответил, что не вправе открывать источник своей информации. Члены редколлегии, притихнув, переводили взгляды то друг на друга, то на меня. Никто не мог решиться поверить мне, но и не поверить было нельзя. Такими именами и такими вещами не шутят. Пауза, конечно, повисла.

«Ну вот видите, — сверкнул глазами Кормер — Выбора у журнала нет. Надо печатать!» Все-таки диссидентская закваска была в нём сильна. Друга всегда надо поддерживать.

И всё-таки Семёнов колебался. Видно было, как вертятся в его мозгу мысли и соображения. И все они были направлены на то, как выпутаться из этой ситуации. И он нашёлся.

«Что ж, раз такие обстоятельства, мы принимаем статью. Но — условно! Пусть Кантор объедет тех членов редколлегии, которые сегодня не смогли придти, и получит на экземпляре статьи их подписи о согласии». «Разумеется, — ответил я. А что ещё я мог ответить?! — Но кого прежде всего?» Семёнов пошевелил губами и сказал: «Конечно, Льва Николаевича



Митрохина, он специалист по западной философии. Потом, нельзя вам миновать вашего заведующего отделом — Михаила Федотовича Овсянникова. Ну и Академика». Имени академика называть не буду, человек ещё жив, два слова скажу о нём позже.

Короче, как писал поэт Алексей Цветков в стихотворении «Белая горячка»:

Дверь открывается. Входит сосед.  
Справа Ортега, а слева Гассет.

Примерно так я себя и почувствовал. Было похоже, что я перебрал.

«Держись, старик! — сказали друзья после редколлегии. — Сегодня поедешь?» Я пожал плечами: «Как в пословице — надо ковать, пока горячо». Но уже зашли в кабинет редакторов, со словами из какого-то кино «у нас с собой было». Кормер, который в этот момент писал свой роман «Крот истории» (премия Владимира Даля), полный реминисценций из «Записок сумасшедшего» Гоголя, где герой ведёт дневник, обозначая каждое число, где с развитием болезни начинаются гоголевские шутки в обозначении дней (вроде «Месяца не было, день без числа»)<sup>1</sup>, вдруг толкнул меня в бок и процитировал: ««Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я». Старик, Гоголь тебя, кажется, предвидел. Вот и Хуан Карлос нашёлся»: Борис Юдин достал из портфеля бутылку водки и разлил по стаканам, протянул один мне: «Ну, Володька, на удачу». И удача пришла совсем неожиданно. К нам в комнату неожиданно зашёл не присутствовавший на заседании член редколлегии Лев Николаевич Митрохин.

Человек он был сложной судьбы, работал в ЮНЕСКО, жил в Штатах, где, как говорили про него, остались его жена и дочь, а он вернулся. Его загнали в третьестепенный институт. Но есть люди, про которых знают, что удельный вес их в истеблишменте, что бы ни было с ними, весьма высок. Интересно, что на редколлегию журнала он посматривал как бы свысока, вернее, не принимая её всерьёз. После двухлетнего моратория, который он выдержал, Митрохин вернулся в редколлегию. Позже уже получил членкора РАН, стал зав отделом Института философии, потом и академиком РАН. Забавная деталь. Как-то, уже после того, как получил он звание действительного члена РАН, я столкнулся с ним у метро Кропоткинская на Гоголевском бульваре. Он пил пиво и махнул мне, чтобы я присоединялся. Поскольку я еще не поздравлял его с академическим титулом, я сказал, чокнувшись с ним кружкой: «Поздравляю, Лев Николаевич!». Он

снова махнул рукой: «А, ладно. Просто я их переиграл! Понимаешь? Переиграл!» Я не понял, как, но игровую направленность его психеи вполне оценил.

Войдя к нам, Митрохин спросил: «Куда ваше начальство подевалось? Я прогулял опять, надоела болтовня. Но, кажется, вовремя пришёл. Чего пьёте? Плесните в стакан на два пальца». Выпивоха он был изрядный. Он выпил, а я тут же спросил: «Лев Николаевич, а у вас статья Ортеги была?» Он спросил: «Ты подавал? Наконец-то! Давно пора!» Я вообще-то ждал, что он поддержит, всё же философ и профессионал, выросший в послевоенные годы, по Америке и Европе поездивший, и хотя пуганный, но уже без сталинского страха, занимавшийся историей религии и западной философией, должен бы поддержать. Но такого простого исхода не ожидал. Я спросил: «А вот на этом экземпляре можете написать, что вы поддерживаете статью, и расписаться?» Он кивнул, достал из бокового кармана пиджака шариковую ручку (импортную!) и написал требуемое. Итак, первый отзыв есть, подумал я. Теперь надо звонить Овсянникову. Друзья уговаривали наплевать и как следует отметить первый отзыв. Но все же чувство ответственности и стоявшая передо мной сверхзадача увели меня от пьянки. Я прошёл в приёмную, где сидел аппарат редакции, тогда эта была высокая, молодая и красивая женщина Таня. Она относилась ко мне с явной симпатией, даже отчасти эротической. Все же был я тогда тридцати девяти лет, глаз горел, слухи о моих романах ходили по редакции. И она даже сказала как-то, что ночью ей приснился сон, как мы предавались разным излишествам любви. Но я старался не заводить отношений на работе и как бы не заметил её слов. Она не обиделась, отношения остались хорошим.

«От тебя можно позвонить?» — спросил я.

«Кому?»

«Овсянникову».

«Давай лучше я это сделаю, он не всем отвечает, а мне отвечает».

«Давай!».

Короче, договорились, что в одиннадцать утра я буду у Овсянникова дома. Ровно без пяти одиннадцать я уже был у его подъезда на Ломоносовском проспекте. Посмотрел на часы и нажал кнопку домофона ровно в срок. Домофон сработал, я поднялся на лифте, и в одиннадцать вошел в квартиру. Навстречу показался в мягком домашнем халате хозяин, на ногах тапочки, сделал приглашающий жест в сторону кабинета: «Там уже чай накрыт, посидим, побеседуем». Михаил Федотович (21.11.1915–11.08.1987) был роста невысокого, волосы бобриком, ходил, как-то очень прямо переставляя ноги, словно они не гнулись. Говорили, что результат ранения. В 1941–42 гг. был в московском ополчении. Происходил из крестьян, из села со смешным названием Пузачи Курской губернии. И выражение глаз хитрое, деревенское, хотя считался лучшим специалистом по Гегелю в те времена, кандидатскую диссертацию защитил в 1943 году по теме «Судьба искусства в капиталистическом обществе у Гегеля и Бальзака», а уже докторскую в 1961 г. — по теме «Философия Гегеля». Стал деканом философско-

<sup>1</sup> Напомню у Гоголя: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое».

го факультета. Его книга о Гегеле была в те годы самой обстоятельной и обязательно читаемой. Хотя, как говорили студенты философского факультета, Гегель был понятнее.

«Ну с чем пожаловал? — спросил он, наливая мне чаю в стакан в серебряном подстаканнике. «Пустяковое, в сущности, дело. Но приказ Главного, вот и приехал. Тут принимали статью на редколлегии. Статью приняли, но поскольку она шла по отделу эстетики, требуется ваша виза». И я достал из портфеля конверт со статей Ортеги и протянул статью Овсянникову, добавив: «Вы болели, пришлось за вас на редколлегию ее посылать. Вы уж извините. Главный редактор велел подавать, что в портфеле у каждого отдела. Я и дал эту, её подготовила знаменитая наша испанистка Инна Тертерьян». Михал Федотыч протянул руку, взял статью и тут же уронил, почти отбросил её на стол. «Володька, но это нельзя печатать. Махровый идеалист! Да нас посадят!» Я ответил, как мог циничнее и спокойнее: «Теперь ситуация такая, когда уже статья подана на редколлегию, она должна быть напечатана. Тогда не посадят. Вышла, и значит, так и должно быть! Если же мы дрогнем и испугаемся, тогда дело приобретёт совсем другой характер». Федотыч побелел весь: «Что ты наделал! Но я-то не подписывал!» Я пожал плечами: «Тем более вас не посадят! Отвечать мне». Федотыч замахал руками: «Нет, нет! Мне тебя тоже жалко!» Он и вправду ко мне хорошо относился, не раз уговаривал защищать докторскую диссертацию: «пока мы живы». А умер он и вправду через три года. Я снова принял его успокаивать: «Михал Федотыч, сталинские времена давно прошли, за такие тексты не сажают уже». Овсянников выскочил из-за стола, в одних носках по ковру подбежал к книжной полке, стал перебирать книги: «Да о нём же пишут, что он испанский фашист!».

Я предостерегающе поднял руку: «Но вы же сами знаете, что это неправда. Он антифранкист, эмигрировал во времена Франко в Латинскую Америку. А статью какой-нибудь ваш знакомец написал, да небось в пятидесятые неопределённые годы. И вам подарил».

Он остановился, поднял на меня глаза: «Откуда ты знаешь?»

«Неужели вы сами бы сборник по испанистике купили бы? Вы же Гегелем занимались тогда».

«Ну да», — согласился он.

«И всё же, — снова перешёл он к спору, не желая подписывать. — Он же написал работу «Дегуманизация искусства». Понимаешь — дегуманизация! А мы за гуманизм. На этом вся советская эстетика стоит! А у него тут манифест модернизма!».

Надо сказать, в самиздате я уже подначитался кое-каких текстов Ортеги, представлял, о чём речь, и был уверен, что Овсянников-то их не читал. «Он же писал в этой работе, что констатирует художественную реальность двадцатого века, и нынешняя задача — указать искусству другую дорогу, на которой оно перестало бы быть искусством дегуманизирующим. И кто его любимые художник? Это Гёте, это Веласкес, это Сервантес, это Гойя. Какой уж он к черту модернист!». Федотыч пожевал губами и ничего не ответил.



Мозги шевелились, нужен был ещё толчок. И я его сделал: «А потом на редколлегии говорили, что приехавший в Москву испанский король пенял нашему Генеральному секретарю, что мы не печатаем великого испанского философа. И Генеральный обещал в этом разобраться. Так что наша публикация будет как раз то, что требуется сейчас».

Словечко «говорили» — замечательное. Ведь и вправду говорили, но кто говорил, я не сказал. «Ладно, — сказал Овсянников. — Думаешь, мы как раз в струю попадаем? Где моя ручка?» И он подписал. Мы допили чай, я ушёл.

Академика надо было ловить в Институте философии АН СССР, в три часа дня у него начинался сектор, которым он руководил. Приходил он обычно на полчаса раньше, готовился к заседанию. Человек он был аккуратный. На эту его аккуратность я и рассчитывал. Так и получилось, я застал его в одиночестве за столом с разложенными на нём бумагами. Я рассчитывал на интуицию. Но степень проницательности у Академика превышала среднестатистическую проницательность других философов. Во время войны исполнял должность старшего политрука, был инструктором политотдела дивизии ПВО. С 1943 г. — на Воронежском фронте, затем на Украинском, был контужен на Курской дуге. Военный иконостас, который он надевал по праздникам, поражал. Среди прочих был даже орден Красной Звезды. После войны служил под Веней, немецким владел очень даже хорошо. Боевая школа была не слабая, но и жизненная не хуже. До войны и до учёбы на философа он хотел стать писателем. И ко мне, кстати, уже позже стал хорошо относиться, когда узнал, что я пишу прозу. Так вот он взял за образец прозу Бабеля, возил ему свои рассказы, Бабель работал с ним как с учеником. И как-то в мае, 14 мая, он провёл с Бабелем целый день на даче в Переделкино, засиделся. Побежал на станцию, но на электричку опоздал. Вернуться к советскому классику счёл неловким, просидел всю ночь на скамейке, благо было уже тепло. А в Москве уже купил газету, где было сказано, что 15 мая у себя на даче в Переделкино был арестован враг народа Исаак Бабель по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. После этого эпизода на своей писательской карьере академик поставил крест. Тем более, что доходили глухие слухи, как чудовищно пытали Бабеля, раз он оговорил Ю. Олешу, В. Катаева, И. Эренбурга, склоняя их к шпионской деятельности в пользу Франции. Уже потом мне рассказывали студенты Литинститута, как один из писательских орденосцев (уже после XXII съезда) рассказывал

молодым ребятам о пытках Бабеля: «Жидок-то оказался жидок. Когда иголки под ногти стали загонять, визжал безобразно». Студенты не нашли ничего лучшего, как явиться под окна квартиры орденосца и разбомбить его окна кирпичами.

Короче, Академик прошёл хорошую школу советской жизни. Поэтому я просто положил перед ним статью, где уже стояли две рекомендации на публикацию, и сказал: «Теперь, пожалуйста, подпишитесь тоже. Это простая формальность». Он поднял на меня умные глаза и произнес: «Владимир Карлович, я вовсе не сумасшедший. Академики тоже понимают, что к чему. Я такое никогда не подпишу». Тон был спокойный, и ясно, что возражений никаких быть не могло. Но и у меня выхода не было. И я вывалил свой козырь о короле Хуане Карлосе. Академик усмехнулся: «Вы думаете, я поверю этой байке? Откуда вы это знаете? Семёнов может верить, а я стреляный воробей. Я верю бумаге, а не фантастическим рассказам». Почему-то фамилия Семёнова вызвала у меня некую важную цепочку бендеровских новых идей. Сегодня иногда думаю: какого чёрта я тратил силы и время на публикацию нормального, не крамольного текста. Ведь всего через пять-шесть лет выйдут сразу несколько томов Ортеги. Правда, тогда это было даже за пределами воображения. Видимо, это осуществление свободы в несвободных обстоятельства было мне важно. Я уже чувствовал себя совершенно свободным, был автором десятка рассказов, пары повестей, романа-сказки «Победитель крыс». Про этот мой текст известный в те годы фантаст и сказочник Кир Булычёв во внутренней рецензии в издательство «Молодая гвардия» (которая начиналась поразительными словами: «По моему объективному мнению...») написал, что «перед нами абсолютно диссидентская сказка»,

которую друзья автора подобных же взглядов, очевидно, с удовольствием слушают, сидя у камина и попивая водку. Но он советует издательству как можно скорее вернуть рукопись автору и больше дел с ним не иметь. Камин у меня не было, сказку мало кто тогда читал. В 1991 году она вышла тиражом (два завода) 225 тыс. экземпляров в издательстве им. Сабашниковых. Пока же я был абсолютно вне социальной жизни. Поэтому ко всем событиям советской действительности я относился с любопытством, чувствуя и даже отчасти понимая, что ее законы не про меня писаны. Просто интересно было, как можно сыграть в той или иной ситуации. И я сыграл: «Но я уже от лица журнала обратился в отдел ЦК и получил добро на публикацию. Так что я точно сказал, ваша подпись — это простая формальность». Академик был озадачен: «А в какой отдел?? Я позвоню туда». Дело в том, что наш журнал курировали сразу два отдела ЦК — отдел науки и идеологический отдел пропаганды. «Ну знаете, этого я вам не имею права сказать, звоните сами и выясняйте». Ситуация оказалась для академика неразрешаемой, квадратурой круга. Позвонить в отдел и спросить, звонил ли вам такой-то, было невозможно. Если бы хоть твёрдо знать, какой отдел. Но этого я не говорил, как бы не смел сказать.

Он достал из кармана пиджака паркеровскую ручку и начал покусывать её колпачок. Стало понятно, что подпишет, но ищет формулировку. Наконец, фраза родилась: «Не возражаю. При условии, что статья подержана всеми членами редколлегии». И расписался.

На следующий день все три подписи были показаны Главному, и он приказал мне готовить статью. Статья была опубликована в журнале «Вопросы философии» в 1984 г. № 11. С 145–153, с предисловием Инны Тертерян «У истоков эстетики Ортеги» (с. 139–144).

---

#### КНИГИ И ЛЮДИ

---

Р. Никитин

## ГЕРОЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

**К**нига о Ренненкампе (воспоминания вдовы генерала) рассказывает об одном из героев иного — не того исторического периода, которому традиционно посвящено внимание издательства «Посев». Это тоже привлекает дополнительный интерес к книге. Читатель может отвечать не только на вопрос «о чем?», но и «почему?».

И в самом деле: почему «Посев», с самого своего основания ориентированный на борьбу с советской идеологией, на правдивое освещение советского периода истории России, заинтересовался генералом Ренненкампом, который к советскому («посево-советскому»)

периоду истории относится только трагическим финалом своей жизни (расстрелян большевиками в Таганроге в 1918 году), а как исторический деятель — весь принадлежит иному времени?

Ответ на вопрос может быть, в частности, таким: Первая Мировая война, «время Ренненкампа», интересна — в том числе и — тем, что самой возможностью своего возникновения советская власть обязана войне больше, пожалуй, чем любому другому историческому событию. В каком-то смысле советская власть и была этой войной, искажённой окончательно, переродившейся, перенесённой «извне» «внутрь»; за почти столетие до нашего времени Россия, удивив весь мир, оставила всё «внешнее» и пошла сокрушать